



Иван Алексеевич Бунин

## **Золотое дно**

# Содержание

#1 .....	0005
Комментарии .....	0018

**Иван Алексеевич Бунин**  
**ЗОЛОТОЕ ДНО**

Тишина — и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса — только пары, хлеба и лощинки с дубовым кустарником...

— Ну, что новенького, Корней? — спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

— Новенького? — сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. — Нового у нас ничего нету.

— Значит, живете по-старому?

— Это правильно. Плохо живем...

Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в

зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и разохшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать.

— Так плохи, говоришь, дела? — спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

— Совсем, совсем плохи! — поспешно, как будто даже с удовольствием подтверждает сестра. — Будь капитал, еще, может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

— Зато тишина-то какая! — говорю я.

— Уж этого хоть отбавляй! — с угрюмой иронией соглашается племянник-студент. — Действительно, тишина, и прескверная, черт ее дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. Издали — хоть картину пиши. А подойди — затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины — на две сажени, и караси все подохли... Дно-то, действительно, золотое,

только до него сам черт не докопается!

## II

Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологривовском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездит прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается громыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слышал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опоить его какими-то колдовскими травами, — он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронул-

ся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в молельной мертвым...

— Не знаешь, не продали еще? — спрашиваю я Корнея.

— Продали, — отвечает он. — И продали-то, говорят, за тринку! Живет тут приказчик от наследников, а ему что ж? Не свое доброе. Без хозяина, известно, и товар — сирота. А земля тут — прямо золотое дно!

— Хороша?

— Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами, весело отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чащах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столетние березы по две, три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины.



Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

— А вон и Батурино, — насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

— Что, и тут плохо?

— Да уж молодые-то уехали. А старуха дом продает. Добилась до последнего.

— А как бы заглянуть туда?

— Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

### III

В Батурине — это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! — в Батурине тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С

плотины дорога поднимается в гору мимо батуриного сада. Сад еще до сих пор густ и живописен, и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы — раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха. Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

— Я доложу-с, доложу-с, — бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда, когда через несколько минут отворится дверь, я вижу растерянное, старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома — вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает войти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть

ворот своей темной кофточки из дешевенького нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбу и доньне... Направо — дверь в его каморку, прямо — комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

— Мы ведь в пристройке-с теперь живем, — виновато поясняет Батурина. — Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

— Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопросительно.

— Не беспокою ли я вас? — говорю я громче.

Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

— Нет-с, нет-с, — отвечает она с ласковой снисходительностью. — Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадучка с пшеном, какие-то бутылки, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкой зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздвогнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на разохшийся балкон, с трудом отворяю ее — и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как все цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишенике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

— Дядя, дай серничка! — кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» — думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

— Всем не мед, — говорит он. — Не одним господам... Хрестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь! Купят мужики сто-двести десятин, — конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норовят слопать друг друга. А пойдут свары — дело и совсем изгадится, и хоть на перемет с обрывком лезь!

— Однако, — говорю я, — крупных-то гос-

под осталось три-четыре на уезд, значит, расходуется земля по народу.

— По городским купчишкам да лавошникам, — поправляет Корней. — По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

— Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

— Попоить пора, — говорит он деловым тоном.

— На Воргле попоим.

— Ну, на Воргле, так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом — дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый

сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью — только изредка повеваает откуда-то теплом... В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахохлившись, спят вороны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженная! Слава богу, хоть месяц всходит! Все веселее...

## V

Воргол — нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, тарантас шибко подкатывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогоров. Звон бубенчиков замирает, и

нас охватывает гробовое молчание.

— Уж и глухо же тут! — говорит Корней, слезая с козел, и голос его странно звучит возле пустых стен. — Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит громыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себя свою ночную жизнь...

— Корней, — говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы, — надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

— Ай соскучились?

— Соскучился. Ну его к черту... Едем.

— Это еще милость, — говорит Корней на-



смешливо. — Вы бы осенью али зимой заехали!

— И как вы только живете тут!

Корней завертывает сигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

— Живем пока...

— То есть как «пока»? А потом-то что ж?

— Потом — что Бог даст. Все что-нибудь да будет...

— Что же?

— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

— А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.

— Как иначе-то?

— Там видно будет, — отвечает Корней уже совсем хмуро. — Поедемте, барин, не рано!

И молча лезет на козлы.

# Комментарии

Сб. «Знание», кн. 1, СПб., 1904, вместе с рассказом «Сны» под общим названием «Чернозем». Печатается по тексту *Полного собрания сочинений*.

По рассказу было дано название сборнику, который вышел двумя изданиями в Книгоиздательстве писателей в Москве в 1913 и 1914 гг. Подготавливая «Золотое дно» для этих сборников, Бунин провел большую работу над рассказом: он разделил текст на пять глав, исключил многие авторские отступления, где говорилось об ушедшей деревенской жизни, о расправах крепостников с крестьянами.